

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО

НАСТРУРЦИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Аркадий Трофимович ДРАГОМОЩЕНКО
родился 3.2.1946 в Потсдаме.
С 1968 г. живет в Ленинграде.
Автор нескольких книг стихов, в
том числе: "Сумма описаний",
"В пределах песка", "Реверсия",
"Небо соответствий", романа
"Расположение в домах и деревьях".
Постоянный автор МЖ /см. № 1,6,2П/.

Несколько предварительных замечаний

В периодическом возвращении мысли к смерти нет ничего предосудительного и зазорного, точно так же, как и в том, что мысли, отрекающейся слой за слоем от приказов привычной речи и ее сомнительных утешений, удастся — так мнится — постичь в своем устремлении, — какого же рода это желание? Благо ли? Зло? Дерево ли, корни чьи в глазу?

Но "постигаемое" /сознание не осмеливается прибегнуть к совершенной форме глагола; впрочем, и "совершенство" далеко не свершение/ — и тотчас в эвклидовых прямых перечислений; о тщетности? о бессильи? о возвышении голоса? радости внезапно восхищающей полноты?... — а потому: постигаемое можно представить, как разворачиваемое вспять полотно языка, выражения — еще не заткано, — как преддверье речи, уносящей по мере своего проявления все дальше от "горизонта", к которому непременно стремится мысль,

но, скорее, как язык, заключающий в себе неустанное, только, быть может, в письме уследимое соскальзывание в раскрывающее себя повсюду "иное". Меж тем одно из искушений, о котором пишущему надлежит помнить, это искушение истиной...

Однако легче вообразить это стремление, как опережение наличных представлений, как великолепный миг-век разделения, образования смысла в потоке бессмысленно-привычного; не более. Так, через "смерть" движет себя традиция, словно нить сквозь игольное ушко. Вместе с тем это можно назвать временем /как бы ни было условно здесь это слово/ вновь и вновь наступающей "первой встречи". Летом я получил письмо от друга, в котором говорилось о смерти некой женщины /никогда не знал ее и никогда теперь не увижу/, о ее последнем дне, когда восемь подруг собрались у постели умирающей, и стоял ветреный весенний день, и было видно из окна, как ветер с океана гнал траву... Из своего окна я видел настурцию на балконе, таившую в словесном своем составе, словно в слепом стручке, новые

завязи, соотношения, новые меры, коим в точности было предписано повторить бывшие... словно в сумрачном стечении согласных — в смерти — где нарастающие, смывающие друг друга, возникающие дрожат бесчисленные связи реальности.

Стихотворение в стихотворении, "как бы слой за слоем — и так без конца, словно жемчужная сеть Индры"^Х. Разматывая свой кокон в пустоте, к началу, к первому соскальзыванию слова в движении речи, волшебной связующей десятки тысяч километров и сотни лет во взгляд через плечо другого. Есть она... и нет ее. Как бы никогда и не было ее, но вот она... Только в отсутствии смысла надежда его обрести, читает вспять мысль, возвращаясь к началу.

^Х Фа Цзан. Очерк о золотом льве в Хуаянь.

Потом одетая
воду холодную пьешь из кувшинов.

Велимир Хлебников

I

Опыт
описания изолированного предмета
определен предвосхищением итога —
взглядом через плечо другого.

Настурция состоит
из дождливой прорвы окна
для самой себя "до",

для меня — "за". Кому достоянье
рдеющей
дрожи
спрессованного обнажения
в проеме обоюдоострых предлогов

створчатой плоскости
прозрачность
разящей
стекла?

У

Белизной атакующей иссушена
и точна /отточена до не двоенья отточья/
стена

на бирюзе искажения.

Ракушечник и жар
в пурпурном полукружье
да пар
блистающий в трилистнике двора
оставила гроза настурциям в наследство.
С изнанки знак — не зеркало, не детство.

/Версия: этой ночью разбитые вдребезги
лучи синевой сгущенных стрекоз,
связавших
полдень в узел слепящей пены...

Версия: этой ночью лучи раскрошены
стрекоз, сшивавших днем камыш с осокою
в низине, где пар слепящ, как паутина лета,
а — совершенное отречение
от возможного воплощения.

В чтении:
ни стрекозы, ни того, что образовано
и образуется
или смывается, — но и чистейшие формы
требуют грязи. Версия./

Резьбой живой в мятущейся траве
безмолвие ведет раскосый ветер.

Звук

извне

навстречу

тому,
что глаз напутал, форм не соблюдая, —
и оголяет, схлынув в сотый раз, углы,
где цепко сходятся надменное молчанье
с попыткой одержимой обогнать молчанье.

Вибрирующая настурция
 /погружение:
 шмеля в недопитую оторопь крыльев/
 в
 пряже намерений укрепляет края
 /что-то происходит с глазами —
 не достигают ума/

материи
 в существительной косно-словесной ткани
 цветка, —
 распускает округлые траурно
 в сумерках
 /вскрику гортанных кустов на излете
 в друзьях осени их уподобим/

листья.

/знание, принадлежащее мне,
 ее бережно впитывает, подключая
 к неисчислимым сетям капилляров:
 настурция — это отрезок нейронной
 струны.../

Некоторые проедены гусеницей, лучами, тлей.
 В подъезде сочится надпись: "Убит Вольтер,
 позвони срочно мне".

Сыр букв мел.

Помнишь ли ты, как впервые
настурция отделяется от листа
платана?

Где воля обретает смысл желанья
на волос смерти вырваться вперед

до хруста позвонков пятитоновой гаммы
и муравьев в висках — подобны тонкорунной
соли —

сухим ожившим звоном
перебирающих, как воздух, каждый волос

т о й
что уже кувшин, вода и пот и лист платана,
кувшинка, ожерелье пыли и лезвие, сквозящее
разрывом,
и остальное все, что может продолжаться,

лишь только память, приоткроясь, прянет
навстречу ей, распутанной глазами,
столь смехотворно соблазнить пытаюсь

т у,

что отныне только продолжение
в безмерной близости предела,
настойчивой поспешной речью. Достаточно
известен диалог:

— Где ты была? — Промолвишь.
— Я... ... — Запнется.

И ей немедленно подскажешь:

— Ты блуждала. При переходе из порядка
в хаос...

— Да, если хочешь... Да.
— И что же? Из прошлого что вынесла с собою?
И нужно ли, что вынесла теперь?
— Когда? Где? Мне?
— Да, ты. Тебе!
— О, все, что скажешь мне, я буду помнить...

/и длится скучный диалог, переходя
в природу постепенно шума/
Так.

дерево, читаю /что?/ за тенью шло.
И, если бы
сознание мое я мог вложить в народы листьев,
в регистры искр и сучьев,
в гул его стволов, размотанный папирусною волей,
Сказал бы: тень опередить готова
истоки в окончании ветвей,
расставив "умиранию"
условье нелепого признания в любви.

Непроницаемо.

Испещренные повторами лопасти
/сорок секунд уходит на поиск аналогии
разветвлённую вверх
предгорловой части стебля — вместо этого:
"эмоциональность является составляющей
композиции
и выражение, разлучая себя к восклицанию,
значит столько же, сколько и запятая,
предшествующая его появлению"/

в лучеобразных прожилках, проживающих
эпидермий, как дыр надпись,
стекающую к обрыву,
не унимая беспорядочных колебаний,
ложатся вплотную,

доброя меж собою и мною
пространство спасительной рассудку. Драго-
мощенко Аркадий Трофимович описывает
настурцию, вложенную в его голову. Хлорофилл

распрямляет галактики кислорода. Трение света
о зеленую массу расширяет путь вещи в сетке
фильтрующей ливня,

ленно колышит
другую,
знаменуя в знобщем пороге
узнавание широких потерь, брешь, заплывшую
чьа двухстворчата власть, словно талый узор...
виноград,

перешедший бормотаньем чужим
в новый простор порождения иного
из неизменного.

Произнеси, А.Т.Д., риторика накопленья.
И утверждение: те ли стрижки /что и три года
назад/, словно молекулы тьмы, тому вечера снова
соткут для звезды,
обронившую мускулистую линию в темя залива?
Тому ночное умаление в зелень и ниже,
в ил
милости почв...

HOM,

/ОН В НЕЙ , ОНА В НЕМ/

подобны сокрушающим друг друга значениям
/я не говорю, что метафора.../,

притягиваемым

одной из отстоящих подробностей —

прям,

TÖHÖK

по дереву вброд линией проведенный

POT, -

тень его флюгер, перебирающий горизонталь

решений,

мысль,

не успев, что родиться, в речь мимолетом
рядится,
ряды образу свечений
в веществе раздраженном,

брызнув в противоположное ей число, род
как стеклярус в разные стороны в разорванной
восторженно нити,

Подобно тому, не успев испариться,
капля бывает отброшена раскаленной плитой.
Поворот головы продиктован потребностью
уяснения траектории
оперенной плоти, чья масса втиснута
в коридоры тяготения
зрения,
пересекающего ему обратную перспективу
в толщах растянутых равновесий. Механизм

клавиши, извлекающей звук, парящий над своим
описанием

в слухе,
протянутом отклоненьем в теперь. Когда? Где? Мне?
Зачинающие головокружение

"вещи".

И очертания ее непреложны, чтобы пересечь
убыванье, — рама, — ее вертикали служат примером
тому, как

осязаемое вводится в разум —
заумь возвращает сужденъем то, что всосала
и растворила в чистую плазму за день:

настурция необыкновенно проста /пуста/
до первой строки /с любого конца/
позиция равновесия.
Скобка, которую не хочется закрывать.

На желтой синеве лилова белизна. Зной поры пьет
известняка
и полукружья солнца на траве ржавеют. Лишь

сквозь другого
/школьные таблицы, решетки игр, иглы, логарифмы,
птицы, брожение капустниц по садам, валентность
дней, природа,
фигурки слов сквозь формулы
стрекозы

да чердаки,
где грезит зверобой
и сыплется, легка, медовая труха из балок душистых
перекрытий,

где солнечные бодрствуют осы
и на комод разбитый юбку бросив,
соседка-сверстница, раздвинув ноги,
кладет ладонь твою туда, где горячей

всего,
и узнает рука
все то, что видела всегда сквозь школьные таблицы,
логарифмы птицы, сквозь звезды ее рта.../

— и дело тут не в том, какого рода...

в другого рода лепке языком слюны под лампой темной
горла,

Как будто вспять в намеренном незнании
случается, что выпадает срок, ничтожный даже для
небытия

и кости гнет другой,
одновременно губы взрезая странною ухмылкой,
как волной.

И гонит

воздух взор вдоль кривизны земли,
что из окна рассыпалась травой, струеньем иероглифа
в стремнине
уже законченной весны на грани переполненной луны
т о й; что для нас, "достигнув полноты",
в солнцевороте кровь остановила,
едва не тронув кончиками пальцев
/слегка не дотянулась/

зоны лета,
подобно отраженной жаром капле,

и будто ужас испаряться медлил.....

Где воля обретает смысл желанья
на волос опереться сквозняка.

Вас было восемь у ее постели.
Ей счет начать предстало: первой иль девятой

в распаде клеток смрадно /детский ужас! –
вдвигавший рвоты клык при виде глянца воска,
идущего на сладостную маску, чей рот текуч
с ушей,
и запаха свечей в чаду воспоминания о том,
кто, как бревно со снятою корою; простерто
в жирном черноземе!//

И
в тленье милых связей – юнолунья завязь –
привычных в разделении времен.
И только взгляд других
незримо плазму держит...

Но пишешь ты, что "ожидание", "прерывность",
теряя смысл и естество, как третий цвет меж тем
ее вплетали
в свой, исполнения не знающий узлов,
узор,
и все невоносимей зрело в тебе значение "ее",
тогда как шла неброская работа по изведению мысли
/ты, она/ из оболочек материнских боли,
безмолвие симметрии кроша безмерной близостью
предела.
И дерево темнело пред тобою, и ветер-поводырь
вел белую траву, смешавшую свои именованья...

А здесь, на сорок первом жизни,
дураковатый баловень холодных облаков,
ведя глазами мозг по кругу мотыльков
и, одержим нивесть какой затеей,
испытывая пальцев ремесло,
я подоплеку изучал событий в прослушиваньи блеска
стрртых слов,
изъяны точности истолковать готовый,
как – "все, что видишь чрез плечо другого,
уже – есть ты,

и вновь плечо другого;
бессильный что-либо продолжить
в познании, разлучающем в едином..."

Пособие грамматики – пейзаж сквозь X сравнения
подстановкой брезжит,
настурцией. Ползет на подоконник.
Немного холодно.

Слегка знобит.

Закат.

Молния /о лукавости прикосновения/ — кольцо
 "природы" —
 раскалывает некий предварительный океан
 на моллюск мозга и, делящуюся по обе стороны,
 воду.

оставляя последнюю
 завершенной надолго,

чтобы в будущем проползла цепным миганьем
 телеэкрана
 или икриным скрипом по диагонали
 комнаты, зазубренной огнем на зубок.

Никогда
 не позволяйте себе курить в постели.

На воду,
 где претерпевая клеточные изменения
 в зеркальном деленье, в играх этого и другого,
 в изнаночном шелесте аминокислот

/мнится, именно
 там происходит разделение на мужчину и
 женщину,

на моллюск мозга и рябь, скоропись ветра/

мелькнет
 впоследствии /некоторые колебания контура
 минуют мембрану горла/
 развевающая складки фигура,
 босыми ногами ступающая по письму

безразличному ряби,
 щекочущему стопу. Рыбе

предстоит деленье на пять,

хлебу — на голода единицу. Винограду врати

в зияющую возможностями метафору крови.

А здесь на сорок первом жизни,
дураковатый баловень, чья речь
все не о том,

Одержимый

затеей испытания пальцами ремесла преступления,
с разных сторон занявшихся горизонтов
конца,
проклевывающего скорлупу окна,

я следую от вспышки к вспышке, от разрыва
к разрыву,
проплывающих магниевыми лепестками, лица
позволяющими узнать тех, кто останавливается
опечаткой в памяти. Каменноугольный пласт — это
спрессованные до возможности
отпечатки.

Оборван чьей-то рукой, спускается сверху
микровенец матиола и мотыльком
магнитно-зеленым приникает к излучью локтя.
На побелевшем балконе хлопает дверь: где ты теперь?
Ужимка времени. Каркас меловой гримасы
в холодном горниле,
где настурция
настаивает себя,
существую как пришедшиеся впору вечеру листья
и в виде чаши /разброшенные края/
ускорившего
вращенье
цветка.

Лазурь дребезжит слегка от заползшего за
циферблат самолета. Неопознанный объект возводится
в ранг врага.

Икона.

Мы спешим с опознанием слова, прежде чем его уничтожит
молва.

Стихотворение — опоздание вовремя. Перемена прогноза.

Даже самый невзрачный город
выходит за границы пересекающего его пешехода
в распределении
вещества памяти.

Я намереваюсь сказать... я, ~~на~~... что

сказанное и пустота, втягивающая на выбор
элементы высказывания,
сополагаясь, обнаруживают неиссякаемый источник
желания:
сказанное опять не сказать.

Почтальон объясняет: превратное чувство стыда.
Остаток зимы — чучело, набитое тряпьем и соломой,
сгорает,
замороженное в лучах хоровода. Гнозис погоды.
Благость немислимой близости /смерть стягивает
в узел
прорех берега — пластическая операция/
минуя

рассудка ость — к кости
от первого прикосновения /отсчет/ к коже,
благодаря глаголу, означающему чаще бесцельную
ходьбу

по песку
или пловца, выпущенного воображением
из точки, стекающей по окраине глаза,
словно горошина из стручка
или
сближение с холодом,

перекушенным белизной хлопка,
плещущего рядом, выцветающего
между потопком
и тяжестью, сверкнувшего нивесть откуда
и неизвестно куда против шерсти оглохшего серебра,
льнувшего

к неосязаемому предмету раздора. Догадка
проста — настурция

не

II

нужна. Слагается из точности исключительной
языка,
требующей от вещи — "быть"

и отречения от понимания, говорим иногда. Иногда
говорим: другого времени. Вплоть
до западни
горчичного семени,

признаков, напоминающих и доводящих напоминание
в распаде стиха до последнего витка кокона,
изнуряющего дыхание.

Настурция — это неубывающее шествие форм,
 геологический хор голосов, напозающих, орущих,
 вскрывающих друг друга,
 когда день претворяет вечер в наметенный
 холм, бессонницы

а щебет
 заползает в рот старика на скамейке, чьи пальцы
 узловаты, как шахматные фигуры, возвращенные
 платиной с той стороны луны, но крик сквозь
 березовые оползни духоты,
 по которому сверяешь часы третий год. Те же стрижи,
 бумага, пустившая корни в шершавое
 дерево столешницы, газгольдер за переездом
 у бензоколонки,
 собирающий в линзу зной,
 лицо в интригу антикоррозийного покрытия. Слой
 архитектуры центра. Молекула не имеет отношения
 к молитве.
 Но видеть.
 Вдевая увиденное в иглу,
 жадность коей под стать безукоризненности
 ее выбора —
 тончайшего отверстия формы.